



Александр
Яблонский

ИМПРОВИЗАЦИЯ

С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРОГОГО КОНТРАПУНКТА

И

ПОСТЛЮДИЯ

Александр Яблонский

**Импровизация с
элементами строгого
контрапункта и Постлюдия**

«Водолей»

2014

Яблонский А. П.

Импровизация с элементами строгого контрапункта и Постлюдия /
А. П. Яблонский — «Водолей», 2014

Александр Яблонский – русский писатель, профессиональный музыкант; с 1996 года живет в Бостоне; автор книги «Сны», романов «Абраша» и «Президент Московии», повести «Ж-2-20-32», рассказов и научных статей. Каждый роман Яблонского не похож на предшествующий, но все произведения пронизаны определенными сходными темами и настроениями, что делает его прозу яркой и узнаваемой. Среди этих контрапунктических тем, возможно, самая характерная – виртуозно, до остановки дыхания выписанный, ушедший «китежский» Ленинград 60–70-х годов. Герои «маленького романа» вживаются в мир этого города – в бытовые детали и подлинные культурные события. Они соприкасаются с реально существовавшими людьми, бродят по знакомым улицам, существуют в навсегда ушедшей, возрожденной в книге атмосфере уникального города. Роман захватывает с первых строк и не отпускает до последней фразы, оставляя читателю странную смесь изумления, радости и щемящей грусти.

© Яблонский А. П., 2014

© Водолей, 2014

Содержание

1	6
2	10
3	21
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Александр Яблонский

Импровизация с элементами строгого контрапункта и Постлюдия. Маленький роман

© А. Яблонский, 2014

© О. Сетринд, оформление, 2014

© Издательство «Водолей», оформление 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Что прикажет почтенная публика? [...]
Назначит ли мне сама один из предложенных
предметов или предоставит решить это жребиею?*

.....

Чертог сиял...

А. С. Пушкин

Импровизация есть отчаянная попытка вспомнить мелодию.
Л. Сухоруков

*Если хотите рассмешить Бога,
расскажите Ему о своих планах.*

Вуди Аллен

1

В САМОМ конце ноября 2012 года в галерее Ирины Горбман случился очередной салон. Салоны эти – событие незаурядное, заметно освежающее нашу бурную, но однообразную жизнь. Деревья уже оголились, темнело рано, но дуновения зимы ещё не достигли наших краев, и угрозы снежных заносов не отпугивали местную элиту от недалеких вояжей по богатым пригородам Бостона.

Гости собирались в назначенный час. Машины были дорогие, но не шикарные. Галерея г-жи Горбман привлекала к себе людей солидных, интеллектуальных и без претензий на роскошь, – претензий, так свойственных недавно прибывшим в Америку русским патриотам. Чертог сиял. Подавали хорошее красное вино и сыры, преимущественно твердых сортов. Всё просто, но со вкусом и в высшей степени аристократично. Вскоре кресла были заняты, лишь небольшая кучка мужчин ещё скромно толпилась у буфетного столика, и две женщины заканчивали беглый просмотр последних живописных работ хозяйки салона – надо признать, совсем даже замечательных. Как обычно, зал был полон. Среди присутствующих выделялась несравненная И.М. Впрочем, это не так важно, тем более что автор живописных работ почти затмила несравненную И.М. Читатель, не вкусивший прелестей нашего изысканного общения в интеллектуальной столице Штатов, всё равно с ними не знаком, как и с остальными гостями, чьи имена украшают нынешнюю бостонскую эмиграцию. Госпожа Н. сидела недалеко от господина С., и это не ускользнуло от внимания Алекса Л. Он нервно вздрагивал и слушал Николая Грушко не очень внимательно. Здесь необходимо упомянуть, что салон состоялся по причине встречи с этим удивительным человеком. Если кто-то забыл имя этого не только удивительного, но и замечательного человека, то я не поленюсь напомнить. Впрочем, я с ним не знаком. Может, и не удивительного. И не замечательного. Но поэта и переводчика. Вероятно, меня упрекнут в обилии определений – прилагательных: *«прекрасный», «удивительный», «замечательный»*. Я принимаю упрек, но хочу отметить, что все они соответствуют действительности. Или не соответствуют. По причине врожденной скромности, я не употребил ещё несколько синонимов, которые знаю и которые неизбежно приходят на ум при упоминании этого *незаурядного* человека. Когда-то – «как молоды мы были!» – всех покорили Александр Абдулов и Николай Караченцов в рок-опере – одной из самых первых в СССР – «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Это была сугубо советская рок-опера с музыкой Алексея Рыбникова в постановке Марка Захарова, тогда талантливого и незапятнанного художника. Так вот, автором либретто по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды был Павел Грушко. Любителям поэзии и перевода Павел Грушко известен как автор стихов, написанных на русском и испанском языке – ныне мало кто так умеет. Сейчас и на одном языке не очень ворочают... Однако, главное: он – отличный переводчик, один из лучших знатоков испаноязычной поэзии, говорят... Так что слушал я его внимательно. Было интересно, хотя и подробно. Некоторые дамы стали переглядываться, а мужчины – немногие, из числа наиболее продвинутых в гуманитарной области, – продолжали затылком чувствовать наличие буфетного стола. Я же никуда не торопился, так как стоял Филиппов пост, и к ужину меня ничто не манило.

Говоря об импровизационности творческого процесса, о непредсказуемости развития сюжета, непрогнозируемости последствий изначального замысла, Николай Моисеевич вспомнил высказывание Клее. Пояснить тебе, мой неизвестный друг, кто такой Пауль Клее, нет резона. Узок круг моих читателей, страшно далеки они от народа, но европейский авангард XX века им не чужд. Посему мысль Клее им известна. Но, увы, не мне, заурядному. Я от неожиданного знакомства с ней запомнил и полюбил её. *«Выпусти линию погулять. Она сама тебя поведет»*.

Как всё просто. Напиши первое слово, первую фразу или зацепись за чужую, и вдруг фантазия поведет тебя, потащит... Я и без слов Клее знал это. «... *Как-то после работы взял [...] том Пушкина и, как всегда (кажется, седьмой раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. [...] И там есть отрывок "Гости собирались на дачу". Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман... роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен...*». Это и многое другое я знал. Так же, как знал, что ваш покорный слуга – не Лев Толстой, и пишет этот покорный слуга не «Анну Каренину». Отнюдь. Но всё равно, слова Клее засели.

Придя домой, в ожидании постного ужина, старательно приготовленного женой – жена, кстати, у меня замечательная, – я стал смотреть в окно. То, что увидел, записал. Линию выпустил. Куда заведёт?...

А на улице

ШЁЛ ДОЖДЬ.

Шёл дождь. Скучный и нудный. Однако этот неприятный природный факт даже радовал Гаврилу Карловича. Можно было не чертить круги на улице: выпустил во двор Птоломея, тот сметливо в момент выполнил свои обязанности, теперь до утра все свободны. В холодильнике томились загодя припрятанные «Московская» за 2.87 и четвертинка «Столичной». В кладовке в старом валенке затаились «777», а на подоконнике красовались две бутылки «Мартовского», официально презентованные заботливой Софьей Сигизмундовной на тот случай, если благоверный без неё заскучает. Сама Софья Сигизмундовна уже третий день поправляла своё пошатнувшееся здоровье в профсоюзном санатории имени товарища Пальмиро Тольятти... Так что время наступило радостное и солнечное, хотя на улице шел дождь.

Шёл дождь. Шинель промокла ещё сутки назад, как только выступили из Слободского. Вода, собранная в сапоги, согрелась и ласково ритмично чавкала в такт с шагом всей колонны. Казалось, что идут они по мелководью Азовского лимана, а в руках не винтовки наперевес, а рыболовецкие снасти, удочки, палки. Заключённые шли мерно, спокойно, угрюмо, тушканчики попрятались по своим норам, так что внезапных движений в колонне не вспыхивало. Собаки понуро плелись, зная по опыту, что в такую слякоть ни один этапник шаг направо-налево не сделает. Жижа и топь. Саше удавалось вздремнуть на ходу, и он в секундных снах слышал голос мамы, плеск стираемого в корыте белья, видел всполохи восходящего солнца на чисто вымытом окне мазанки и слепящие его блики на щербатой поверхности лимана. Однако капли воды, затекающей за ворот шинели, моментально будили, и он судорожно сжимал приклад, ствол винтовки и испуганно озира́л вверенный ему участок колонны.

Шёл дождь. С крыши капало, так как там была дырка, которую Хозяин ещё три ночи назад хотел заделать, но стал пить дурно пахнущую жидкость и спать прямо на сеновале. Поэтому Кеша сместился к задней стенке и прижался к ней. Кость уже потеряла свой вкус, запах и даже вид, но за неимением другой приходилось лениво грызть ее и мечтать, когда закончится дождь, Хозяин проспится, нальёт полную миску теплой похлебки, сядет на пень и станет ласково почесывать его за ухом, приговаривая: «Разве это жизнь, Кеша, хреновина это, а не жизнь». И Кеша с ним заранее соглашался. Он всегда был согласен с Хозяином, особенно, когда тот спал на сеновале и шёл дождь.

Шёл дождь. Таня прекрасно понимала, что он не придёт. Он и в хорошую погоду с трудом ходил в Филармонию. Совершал сей подвиг он постольку, поскольку Таня в антракте приглашала его в буфет и угощала коньяком и бутербродом с твердокопчёной колбасой. Эти

походы сильно подрывали её бюджет, но ради чего тогда стоило жить, если не ради этих мгновений. Филармония, буфет, его довольная улыбка и слова «Ты – мое сокровище!» Смущало, что он был на голову ниже её. Однако она привыкла к тому, что была выше своих кавалеров и уже не стеснялась своего роста... Он наверняка не придет – дождь. Но она тщательно подкрасила губы, надела новый, купленный полгода назад венгерский плащ, вышла на улицу и раскрыла японский автоматический зонтик. Ни у кого на её курсе такого не было. Дождь от неожиданности приутих.

Шёл дождь. В прозекторской было ещё холоднее, чем на улице. Никаноров взял в руки реберные ножницы с длинными толстыми ручками без колец, примерился. Затем примерился ещё раз и скинул желтую в подтеках простыню с моей груди. Я не чувствовал боли, ничего не чувствовал. Я лишь знал, что у меня волосатая грудь и нужна большая сила, чтобы вскрыть мою грудную клетку. И ещё то, что на улице идет дождь, а меня уже нигде нет.

Жарко. Душно. Пахнет грозой. Она, чуть покачиваясь, лежит в гамаке. Гамак прикреплен к двум старым высоким березам, которые дают прозрачную узорчатую тень. Блики, блики. Мама сидит у колодца и чистит картошку. Прядь волос постоянно спадает на лицо, она старается сдуть ее вверх, так как руки мокрые. Волосы легко испариваются и опять плавно опускаются. Мама улыбается и качает головой. Лицо у неё покраснелось, ляжка сарафана постоянно сползает, мама резким движением плеча старается водворить ее на место. Тщетно. Плечо у мамы загорелое, полное. Это она – Настя – нескладная, тощая, длинная, ключицы выпирают. Не то что мама. На крыльцо выходит дядя Коля. Дядя Коля – друг и коллега папы. Вчера они приехали, пили водку и пели песни. Утром папа уехал в Академию. Дядя Коля кричит: «Вера, поди сюда. Дело есть». Мама отвечает: «Видишь, я занята.» – «Потом закончишь. У меня дело!» – «Не могу!» – «А ты смоги!». – «Вот настырный. Приспичило. Дело у него!» – Это мама говорит не столько дяде Коле, сколько Насте. Говорит не зло. Встает, вытирает о сарафан руки и неторопливо входит в дом. Дядя Коля пропускает её вперед и закрывает дверь. На защёлку.

Насте уже 14 лет, и она знает, что там делают мама и дядя Коля. Сначала она пыталась подсмотреть или подслушать, сердце выскакивало из ушей, потом она ненавидела маму, затем жалела папу. В конце концов, ей стало всё безразлично. Раз так живут, значит, им так надо. Но во сне видела тот жаркий душный день.

Этот сон сразу же переходил в другой. Жарко. Душно. Пыльно. Грибов почти нет. Выгоревший мох хрустит под ногами. Несколько сухих сыроежек, червивые подберезовики – всё на выброс. Вдруг в низине, на сыроватой поляне, поросшей вереском, она находит семейство красных с толстыми крепкими ножками. «Саня, Саня, сюда!» Саня подбегает, она бросается к нему, они падают. Так хорошо не было никогда в жизни. Оказалось, что они упали на муравейник. Заметили они это значительно позже, когда любознательные насекомые заползли в самые укромные уголки тела. Но так остро и сладко никогда не было. Она не сдерживается и кричит: «Ещё, ещё...». Потом она кричит от ужаса: это не Саня её ласкает, целует, ломает, а водоросли – липкие, холодные, с присосками. Она пытается от них отклеиться, отцепиться, но они не отпускают, и она сама льнёт к ним, наслаждается их мертвенной слизью. Жутко.

Её будят. Дают какие-то таблетки, затем укол. Или погружают в ванную с ледяной водой, потом пеленают. Простыни мокрые, холодные, тугие. Затем привязывают к горячей батарее.

«Саня, Саня...»

2

ЭКСПЕРИМЕНТ удался. Я отправился поедать гречневую кашу без масла и даже без кваса. Квас я забыл купить, хотя нет ничего слаще, чем гречневая каша (правда, с маслом) и квас. Про выпущенную погулять линию я забыл. Тогда я заканчивал свой самый лучший роман. Люди пишущие, даже весьма посредственных дарований, вроде моего, знают, что наилучшее творение – последнее. Во всяком случае, самое любимое, так как младшенское. Потом видишь все его несовершенства, делается стыдно. Но уже ничего исправить нельзя, как нельзя ничего поделывать с выросшим ребенком, не оправдавшим даже скромные ожидания.

Я отвлекся. Итак. Про постулат Клее в передаче Грушко я забыл. Но вдруг, через неделю-другую, понял: возникшие из фразы «ШЁЛ ДОЖДЬ» герои продолжают жить сами по себе, их судьбы развиваются вне зависимости от моей воли и моих мыслей. Я понял, что мне необходимо всё это записать, это не должно пропасть, так как очень интересно узнать, чем всё это закончится. Было ясно: долго следить за бродягой-линией я не смогу, на этом приеме далеко не уеду, характеры моих новорожденных героев, как и капризы Судьбы – дамы непредсказуемой, – взломают идею, возникшую в гостеприимном салоне Ирины Горбман. Но ничего поделывать уже не мог, потому что

ТУМАН РАССЕИВАЛСЯ.

Туман рассеивался. После ужина все пошли на танцы, но ей было не до веселья. Можно было посидеть у телевизора в теплом «Красном уголке» и обдумать надвигающуюся ситуацию, благо комментаторы-остряки, надоевшие своими шутками уже в первый день, хохоча и топоча, двинулись на танцплощадку. Однако на молочном экране суетились дурацкие герои какой-то комедии, выкрикивая устаревшие шутки, демонстративно падая и выразительно артикулируя лицом. Она вышла на террасу. Туман стал редеть, проступили серые контуры стволов сосен, окружавших главное здание санатория. Тяжелые капли изредка срывались с отсыревшего потолка и звонко падали на дощатый пол открытой веранды.

Доктор, осматривавший ее уже второй раз, сегодня почему-то отводил глаза в сторону, мало шутил, прощупывал её как-то торопливо и, как показалось, брезгливо. Первая же встреча походила на светское свидание. Врач, сорокалетний брюнет кавказского или, скорее, еврейского вида, был любезен и любознателен. Софье Сигизмундовне особо польстил его интерес к её работе и служебному положению. Его брови восхищенно и уважительно взметнулись, когда она назвала свою должность. Он долго выпрашивал о различных случаях её практики, непритворно удивляясь, восторгаясь и порой не доверяя: «Надо же! Столь хрупкая женщина, и такое!» Софья Сигизмундовна знала, что особой хрупкостью она не страдала, но ей было приятно и его удивление, и его недоверие, и его неприкрытая лесть. Когда он попросил её раздеться, что было естественно в медицинском кабинете и привычно, она вдруг засмушалась и, кажется, покраснела; он это заметил, отчего она ещё более смутилась и залилась. Когда он пальпировал её, она вдруг забыла о том, что мужчина по профессии врач. Ей были приятны движения его теплых сухих ладоней, её волновала упругость её тела под его сильными и ловкими руками. Когда он ненароком приблизился к разделительной полосе и чуть дотронулся до основания её груди, у неё занял низ живота, и она поняла, что, если он переступит запретную линию, она не будет устраивать скандал... Он не переступил. Только попросил сделать ряд анализов. Ночью она вспоминала смуглого доктора и ждала следующего осмотра.

Сейчас, стоя на веранде и всматриваясь в туман, Софья Сигизмундовна думала о своем Гаврюше. Он, конечно, радуется свободе. У него давно припасены «Московская» и «Столичная», а возможно, ещё и портвейн. Пьет он в одиночестве, в тишине и спокойствии, с интересом пересматривая «Адъютант его превосходительства». Не то что друзей, – даже собутыль-

ников или пьющих (непьющих) друзей у него не было. Не было, нет, не будет. Не может быть. И это её расстраивало. Уйдёт она, и останется он совсем один. И никто не будет его попрекать, подгонять, поучать. Любить, прощать и провожать.

А уйдет она, судя по всему, скоро.

Туман рассеивался. Таня накинула халатик и подошла к окну. Ещё не рассвело. Сквозь редкую завесу в тусклом светло-желтом ореоле просвечивали уличные фонари. Вскоре они погаснут, небо начнет сереть и наступит самое тоскливое время суток. Всё получилось быстро и плохо. Совсем не так, как рассказывали подруги. У них опыт был не более богатый, нежели у нее, но некоторые из них – у кого родители ездили с Мравинским или со Вторым составом в заграничные гастроли – смотрели фильмы, привозимые тайком и хранящиеся дома под семью замками. Подробные детали происходивших там событий передавались в устном изложении другим подругам. В окончательной редакции они доходили до Тани. Жизнь была неприятнее. В кино, судя по пересказам, не стоял запах перегара, не было боли и чувства унижения, происходившего от торопливости, грубой настырности, горячих дрожащих ладоней, понуканий: «Давай, давай...». И фильм длился, как говорили, более часа, а не пару минут. Заставить себя подойти к похрапывающему на раскладушке возлюбленному она уже не могла. Стараясь не разбудить его, она прошмыгнула на кухню. Соседи ещё спали. Она успеет послушаться от них нареканий по поводу скрипа дивана и неприличных звуков: «В наше время так себя не вели». Она подумает: «А пошли вы в задницу!», но вслух это не произнесёт. Терять снимаемую у тётки за смешные деньги комнату она не имела права. Наполнив тазик ледяной водой – горячей у них в квартире не было, – она уединилась в обшарпанном туалете и долго, старательно мыла, выскабливала все места, к которым он прикасался, потом под краном остервенело драила рот, зубы; с мылом терла лицо, подмышки, шею так, как будто старалась содрать свою ненавистную грязную кожу. Всмотрелась в мутное с трещинами зеркало: несмотря на поганое настроение, носик был по-прежнему изящен и строг. Римский прямой нос. Когда-то она мечтала о вздернутом игривом носике, но потом передумала. Курносых – пруд пруди. Прямой римский – сдержанность и неприступность. Как Диана в Летнем саду. Впечатление смазывалось злополучной ямочкой на левой щеке и чуть приподнятыми уголками губ. Легкомысленная такая ямочка, смешливые губы. И брови. Удивленные и кокетливые, чуть взлетающие вверх. Явная дисгармония со строгим носом и глазами, у которых наружные края были грустно опущены. «Возможно, в этом и есть привлекательность», – подумала Татьяна. Глаза были ничего – большие и серые, ресницы длинные, мохнатые. Глаза и густые брови, которые она ни в какую не соглашалась выщипывать, примиряли её с жизнью. Таня поджала губы и подмигнула сама себе. «Жить можно! Хорошо бы ещё в парилку». Но бани были ещё закрыты. Поэтому она неслышно оделась и, не накрившись, выскользнула на улицу. Опять захотелось плакать. Если бы рядом ходил поезд, она, наверное, повторила бы подвиг Анны Карениной. Но поездов здесь отродясь не было, да и трамвай появлялся раз в год по обещанию. Ждать его в такое время было бесполезно. Да и влезть в него с её силенками было невозможно. Даже гегемон свисал с площадок гроздьями спелой вишни. Нет, винограда. Или... В этот момент ей безумно захотелось есть. Она вспомнила, что сегодня и маковой росинки во рту не было, кроме «Поморина», а вчера праздничный ужин со свечами вмиг заглох суженый. Чтобы он сдох. И вылакал всё шампанское и полграфина водки, взятой напрокат у тети Фелиции. Она вспомнила, что пышечная на Садовой открывается очень рано. Поэтому, пересчитав на ощупь мелочь в кармане, Таня приняла правильное решение: идти на Матвеев переулочек через Садовую. Она представила себе чашку горячего кофе, пару пышек, посыпанных сахарной пудрой, и голова у неё закружилась.

Туман на Садовой уже распался на серые хлопья, из которых, как по мановению руки фокусника, выныривали призрачные фигуры сонных людей. Все пристально всматривались в неровную поверхность тротуара, словно надеялись найти бумажник или контрамарку в БДТ.

«Эй, ты, смотри, куда прё... Танька, господи, это ты? Таня!» – «Ну вот, а я не накрутилась», – успела подумать Татьяна. Кто-то обхватил её, приподнял, прижал к себе.

Туман рассеивался. «Ну, что? Будем жрать или запирачься?» То, что это шутка, Кеша понимал. Он припадал на передние лапы, выгибал до хруста спину и понимающе вилял мохнатым хвостом. «Конечно, жрать», – хотел сказать он, но потребность дружеского шутейного общения с Хозяином пересиливала чувство голода. Кеша был умным и от природы интеллигентным псом. Они с Хозяином понимали друг друга с полуслова. Вернее, с полуслова понимал он Хозяина, Хозяин же более ориентировался на поведения хвоста Кеша, и Кеша знал это. Особенно Кеша любил, когда Хозяин шутил. Это бывало часто. Поспав пару дней на сеновале, Хозяин куда-то уходил, приговаривая: «Халтура, халтура, она не дура, едрётъ, не то, что политура». Возвращался он после этой халтуры усталый и долго мылся около колодца. Даже в холод, то есть тогда, когда Кеша ночевал в доме. От него не пахло дурной жидкостью, но веяло ароматом горячего человеческого тела, и этот запах нравился Кеше. Он радостно вертел хвостом и вставал на задние лапы, пытаясь лизнуть лицо Хозяина. Потом Хозяин говорил: «А не хватить ли нам пивка для рывка». Что такое пиво, Кеша не знал. Вот в это время, когда Хозяин для рывка пил эту мутную жидкость или, за неимением её, какую-то другую, он и шутил. Кеша очень любил своего Хозяина. Ему казалось, что Хозяина любят все. Так оно, наверное, и было, потому что люди, которые приходили в их дом и которых Кеша всякий раз облаивал – просто так, на всякий случай, – говорили с Хозяином ласково и даже заискивающе. «Степ, а Степа, забор покосился», или: «Братан, япона мама, будь другом, подсоби: крыша у батяни, блин, совсем прохудилась», «Степуша, прости меня, Господи, помоги баньку поставить, литр за мной», или просто: «У меня бутылка, у тебя – руки. Пошли!». И Хозяин шёл, потому что все его любили, и он любил всех. И у него были руки.

Особенно нравилось Кеше идти с хозяином в лабаз или просто так, по делу. Они шли по селу, и все оборачивались и говорили вслед хорошие слова. Хозяину эти слова нравились, и Кеша это понимал. Кеша всегда чувствовал ногу Хозяина и шел равно, в такт с шагом своего друга, не отставая и не опережая. Всегда с левой стороны, хотя никто его этому не учил. Что такое «поводок», он не знал или не помнил. Он и не нуждался в этом странном сооружении. И все видели, что он независимый, свободный и умный пес, что он – равноправный и верный друг Хозяина, не нуждавшийся во всех этих веревках, ошейниках или намордниках. Это пусть красавцы пудели (один такой аристократ жил в соседнем дачном поселке) или слюнявые, с виду грозные бульдожки терпят такое унижение. Хорошеньким же болонкам или глупышкам спаниелям все эти рабские украшения даже к лицу. Общество это понимало.

Хозяин был всегда спокоен, добродушен и щедр. Никто с ним не спорил и не ругался, потом у что Хозяина были огромные и тяжелые кулаки. Но мягкие и ласковые ладони. Все соседние собаки: и афганская борзая, жившая у какого-то «отставника», которого Хозяин не любил и называл стукачом, и эрделька профессора, и даже надменная редкоземельная ретриверша – все льнули к Хозяину и подставляли свои холки под его неизменно приветливые руки. Даже люди старались угодить Хозяину.

Лишь один раз получилась драка, причина которой так и осталась для Кеша не понятной. «Слонявость», как называл убогого пьянчужку Хозяин, сказал, проходя мимо, когда они с Хозяином шли из лабаза, сказал негромко и совсем даже не сердито: «Глянь! Ровно идет с левой ногой. Прямо, конвойный пес!». Кеша никогда до этого, да и в дальнейшей своей жизни не видел, чтобы один человек так бил другого. Да и на человека Хозяин в тот миг не походил. Он бросил в сторону сетку, в которой были бутылки с дурно пахнущей жидкостью – бутылки со звоном разбились, схватил несчастного Слонявого за грудь, рванул его одежду так, что обнажилась худая серая грудь, молниеносно ударил его своим лбом в лицо, лицо моментально превратилось в окровавленную лепешку, затем швырнул на землю и стал бить ногами, поднимая,

чтобы опять послать ударом мощного кулака на землю, и опять ботиками по груди, лицу, спине. Слонявость не сопротивлялся. Он лишь пытался прикрыть лицо и отползти, неуклюже барахтаясь в свинцовой жиже подтаявшего снега, постепенно окрашивающейся в розовато-перламутровые тона. «Сука, я тебе покажу, конвойный! Я тебя убью! Конвойный! Сука-а-а-а!!»... Хозяин хрипел, выл... Внезапно он оставил уже недвижимое тело Слонявого, упал на землю, прямо в лужу посреди мостовой, прижался к Кеше. «Ты мой родной, ты мой хороший. Какой же ты конвойный! Господи, за что!» Сердобольные прохожие подняли Слонявость и повели его к лабазу, лечить, значит. А Хозяин так и сидел, прижавшись к Кеше, его колотило, он что-то бормотал, всхлипывая, и Кеше впервые стало страшно.

...Похлебка была наваристая и с костью. Кость он осторожно выудил из похлебки, бережно отнес к будке и аккуратно положил между лапами. Растянувшись во всю длину своего мощного тела, Кеша стал неторопливо и с достоинством сначала обнюхивать, а затем облизывать эту чудную, ароматную кость, которая, видимо, содержала самую волшебную в мире, чуть подрагивающую нежную и невыносимо сладостную начинку. Он исподлобья поглядывал на Хозяина. И было в этом взгляде предостережение: не вздумай отобрать, – и приглашение: не хочешь ли разделить со мной этот праздник души... Хозяин посматривал с улыбкой и говорил какие-то странные слова: «Семь бед – один ответ, семь бед... Пришла беда, отворяй...». Кешу эти мерно звучащие слова, этот запах мозговой косточки, этот светлеющий день, пригревающее солнце, пробивающееся сквозь рассеивающийся туман, это настроение покоя и счастья настолько убаюкали, что он не сразу заметил двух остро пахнущих опасностью и волчьей враждебностью людей, быстро и властно вошедших в калитку.

Туман рассеивался. Постепенно начинал проявляться прошедший день. Саша попытался сесть, но резкий переход от горизонтали к вертикали оказался затруднительным. Келья поплыла, образа сместились, и как-то странно загудело в голове, как будто пономарь возвестил заутреню.

Намедни прощались с масленицей. По окончании чина вечерни братья, испросив прощенье друг у друга и у служек, сели за трапезный стол. Позвали Сашу – привечали новенького служку. Пили много, впрок. Закусывали кулебякой с визигой и осетриной, кетовой икрой – без хлеба, ложками черпали из миски. Саша никогда так икру не ел. Он вообще только пару раз её пробовал. Ещё была заливная стерлядь, жёлтые солёные огурцы с укропом, рубленая кислая капуста, посыпанная анисом, монастырские маринованные помидоры и тёплый хлеб. Саша почти ничего не ел, он слушал непонятные разговоры, разглядывал своих новых товарищей, робел. Поэтому быстро захмелел, и вскоре братья отнесли его в пустую келью, где он и проспал до утра. Ночью ему чудились разговоры о том, как братья будут поутру выкуривать масленицу, о том, что надо бы по обычаю «полоскать рот», то есть, опохмеляться после бани. «У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть». Надо бы рот спиртным полоскать, но уставом это не положено. Саша мало что понимал, но слова эти запоминал. Они нравились ему.

На улице было сыро, но уже тепло. В тот год Пасха была поздняя. В Храме начали Великое Повечерие. Зазвучали первые тропари Великого покаянного канона святого Андрея Критского, поплыл плачущий постный благовест. Галки кричали. Саша вернулся в сени, из бадьи ковшом зачерпнул мочёную бруснику с рассолом, выпил, захлебываясь и орошая грудь, живот. Зубы свело ядреной изморозью, но внутренность вмиг остудилась, ожила. Затем набрал жменью кислой капусты, захрустел. Полегчало. Он отдышался, перекрестился и принялся за работу. Надо было чисто вымести, не так, как обычно, но с особой тщательностью, внутренние помещения, покрыть чехлами скудную мебель в Ризнице и в Библиотеке, там же снять тяжёлые пыльные шторы, чтобы было бедно и постно, подвязать лампы. Затем следовало специальными щипцами вынуть из печи заранее приготовленный раскалённый булыжник, бросить в ведро и

идти по помещениям, опрыскивая камень раствором уксуса. Камень шипит. Пар идет кислый. Глаз щиплет. Но на душе легко и светло. Изыди, Масленица, изыди.

К полудню, в шестом часу началось чтение из пророка Исая: *«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю»*. И слова эти радовали Сашу. Вообще, все эти последние дни, но особенно в Чистый Понедельник сделалось ему покойнее и чище на душе, и пытался он забыть прошлое – гадкое и стыдное. Нет, ничто гадкое и стыдное не омрачало его совесть, ибо смог он не совершить то, что должен был совершить, что совершали все его окружающие люди. Но эта грязь, эта подлость, эта жестокость, эта разлитое кругом лицемерие, эта удушающая пустота – всё это убивало его, заражало его, унижало. И только здесь, чуть укрывшись от мира, как ему казалось, стало чуть чище, светлее и надежнее.

Под вечер совсем распогодилось. Саша съел кусок чёрствого хлеба, холодную картофельную котлету с черносливом, попил несладкого чая. И будет. Начинался Великий Пост, а за ним – Светлая Пасха. Дай Бог, доживем!

Он почти заканчивал свою работу, как его позвали к игумену. Настоятель монастыря – отец Тихон – ещё молодой, невысокий человек, с холеной коротко стриженной бородой и в очках с модной оправой, сидел на улице в палисадничке около Храма. Посох был прислонён к старому дубу. Лицо настоятеля было красное, влажное, он устал от длительной службы. Но глаза смотрели пристально, цепко и тяжело. Начал он без предисловий и обращения:

– Звонили мне давеча. Интересовались. Какой грех на душе имеешь, Александр?

Саша не спросил, кто и откуда звонил. Его опять повело, тошнота подступила, он невольно прислонился к дереву.

– Хорошо потрапезничал вчера с братьями?

– Было... Ваше Высокопреподобие...

– Сие не грех. Прощёное воскресенье. Хорошо, что не скрытничаете. Так что натворил, брат Александр?

– Не знаю, отец Тихон. Про все свои грехи уже сказал. Уж исповедовался у отца Федора.

– Знаю. Но что-то, стало быть, утаил или забыл. Раз звонили...

– Истинный Бог, не ведаю, что могло... Я с милицией никогда и дел не имел. Если, разве что, военкомат. Но я отслужил. Честно.

– Послушай, брат мой. Мы своих не выдаём. Но с КГБ я связываться не буду. Себе дороже выйдет. Звонили не из милиции. Подумай. Мне пора. Если надумаешь, я тебя исповедаю. А там помозгуем. Но я с ними бодаться не буду.

Туман рассеивался. Вернее, не туман, а сигаретный дым. Рассеивался, расслаивался, организовывался в причудливые серо-сизые композиции, надменно и неспешно парящие над нашими пьяными рожами. В соседней комнате заело пластинку, и она назойливо повторяла конец фразы, не доводя её до окончания. Это раздражало. Все делали вид, что не замечают слухового дискомфорта, чтобы не смущать меня, а, может, не замечали, так как были пьяны. Однако не замечать было невозможно, особенно тем, кто в той комнате танцевал. А танцевали или должны были танцевать двое – моя жена и мой приятель художник. «Художник, художник, художник молодой, нарисуй мне девушку с...» – крутилась в голове похабная частушка в такт заклинившейся фразе. Пластинка от напряжения шипела на всю квартиру. В комнате зурнел бессмысленный пьяный разговор. Она что-то доказывала. Он не слушал и говорил о своём. Третий пил и некстати вставлял реплики. Ещё одна прижималась к моему плечу мягкими грудями и пыталась сказать нечто умное. Я слушал заикающуюся пластинку и думал: встать или не встать. Надо было выйти в соседнюю комнату, но что делать дальше, я не знал. Если они там

танцуют... но танцевать под заику невозможно. Если же не танцуют, то – что? Разговор постепенно увядал, и все, как мне казалось, искоса смотрели на меня, ибо тупая реприза проигрывателя стала доставать всех. И все понимали, кого нет в комнате. Поэтому я встал и вышел. В соседней комнате никого не было. И, видимо, уже давно. Я выключил проигрыватель. В столовой вздохнули с облегчением. Или не заметили. Возвращаться обратно я уже не мог. Выход был один, и я вышел. Вышел с ужасом: не наткнуться бы на них. В памяти проявилась рисованная порнографическая открытка, виденная в школьном туалете лет двадцать назад. Двое стоя. К счастью, они догадались подняться этажом выше, и я их не встретил.

На улице было туманно и сыро. Ленинградская ночь раннего теплого декабря. Лицо омыло зимней росой, если роса бывает зимой и если она садится на лицо. Хмель отступил. Стало ясно: эта жизнь закончена.

Я поймал частника: «К “Европе!”». «Европейская» была уже закрыта. У парадного входа несколько человек по очереди протягивали в приоткрытую дверь скомканные деньги швейцару тот что-то недовольно и нравоучительно говорил запоздалым гулякам, но ритмично вынимал, как фокусник, из рукава своей швейцарской чёрной шинели бутылку «Столичной», которая тут же скрывалась за пазухой очередного страждущего. Я встал последним, но понял, что пить не хочу и не могу. Подошел к Невскому. Ещё былолюдно. Смех, распахнутые пальто, куртки, хмельные лица, призывные возгласы. Пьяные финны. Их много, и им весело. От этого стало ещё гаже. Куда идти дальше, было не ясно. К родителям – немыслимо. Первый час ночи. Почему, что случилось, как?! Рассказывать невозможно. Никому невозможно. Родителям, тем более. К друзьям – можно, но стыдно. Странно: когда *ты* обманываешь, грешишь, гадишь и ломаешь чужую жизнь, – не стыдно, а даже почетно; тебе завидуют, как завидовали Дантесу. Когда же тебя мордой в дерьмо, причем, при всех, демонстративно – позор. Нормально было бы наоборот. Впрочем, всё в этом мире выворочено и опоганено. Всё извращено. Да и Бог с ним. Надо где-то лечь спать. На улице стояла слишком тёплая погода для начала декабря. Или мне это казалось. В любом случае, перспектива ночевать в подземном переходе меня не радовала. Любовница приняла бы в любое время суток. Но у меня её не было. Одно несомненно: домой, вернее туда, где ещё три часа назад был *наш* дом, я никогда не вернусь. Дочка спит и ещё ни о чем не подозревает. Где сейчас жена, меня уже не волновало.

Я перешел по диагонали Невский и встал в конце очереди на такси у Гостиного Двора, прямо напротив билетных касс в Портике Руска. Очередь была тощенькая, но и такси не суетились. Какая-то женщина спрашивала у мужчины, на руках которого спал ребёнок, в какую сторону он едет. Подкатил таксомотор. Мужчина с ребёнком сел один. Значит, не в ту сторону. Очередешка опять замерла.

– Мужчина, вы последний?

Да. Я последний. Последний мудака. Последний за Земле рогатый му...

– Мужчина, вы слышите? Я к вам... Вы последний?

– Я – крайний, женщина. Хотя последний тоже... Вы не видите, что я последний?

– Я вам не женщина!

– Господи, а кто вы? Да, ладно... Не женщина, значит, не женщина... Тётяшка...

Голос был раздражённый, не старый, с хрипотцой. Оборачиваться было лень. Подъехала ещё одна машина: «В парк! Автово. Кто?» – «А через Московский?» – «Сколько?» – «Сговоримся!» – «Садись!» Молодой человек впорхнул в открытую дверь. Потрепанная «Волга» с визгом развернулась и, обогнув творение Руски, исчезла. Передо мной было ещё два потенциальных пассажира и супружеская пара: рахитичный муж и пьяная жена, которая с трудом не падала.

– Мужчина... Э... извините. Товарищ, вам в какую сторону?

От неожиданности вопроса я обернулся. Действительно, куда мне? Женщина была, как ни странно, интеллигентного вида, лет 45-ти. На вид трезвая. Хорошая дублёнка расстёгнута. Сапоги дорогие. Лицо... Лицо не разглядел.

– Куда мне?... Не знаю. Извините.

– Вы не знаете, в какую вам сторону?

– Не знаю. Простите. Я вот за этим мужчиной стоял. До свиданья.

Я отошёл к стене Гостиного Двора. Достал пачку ВТ. Осталось две сигареты. Курить не хотелось, и я закурил.

– Простите, вам что, некуда ехать?

– Не знаю... Ничего, что-нибудь придумаю. Спасибо.

– У вас дома нет?

– Уже нет.

– Выгнали?

– Я пойду. Спасибо. Я не собака, чтобы меня выгонять. Я всегда уйду сам, – получилось красиво, как у Байрона. Или какого-то другого гордого англичанина.

– Постойте. Та-а-а-к... У меня дома не курить. И без поползновений.

– Какие там поползновения!

– Я вижу. Поехали.

Я встал около неё. Поехали через час.

Она жила на Таврической улице, на третьем этаже в старинной небольшой квартире. Картины в тяжёлых рамах, мебель орехового дерева, кожаные кресла, как в фильмах про английскую жизнь, такса, икона. Запах «Клима». Настя ими пользовалась. Остальное не помню.

– Кушать хотите?

– Нет. Если можно, крепкого чая.

– Не уснете. Начнете дурью маяться.

– Усну. И вы уснёте. Спокойно и просто.

– Спокойно и просто мы прыгнули с моста. Я вам поставлю раскладушку в кабинете мужа.

– А муж где?

– На бороде. Завтра я вас устрою. Если не передумаете расходиться с вашей женой.

– А вы откуда...

– На физиономии написано. Если всё так близко принимать к сердцу, то лучше уж сразу повеситься.

– Спасибо за совет. Это ещё предстоит. Но если всё не воспринимать близко к сердцу, если все «ссы в глаза – божья роса», то лучше вообще не родиться. Не жить. Это – не жизнь.

– Вы максималист.

– Я – экстремист.

– С чем и поздравляю. Меня не подорвёте случаем?

– На фиг вы мне сдались.

– Пейте ваш чай и укладывайтесь. Чистую зубную щетку полотенце и пижаму я положила в ванной. Спокойной ночи.

Утром она звонила какой-то Ларисе, у которой была свободная квартира на Лиговке. Просыпаясь, я слышал отрывки разговора. «Надо пристроить... Я?... Да никогда!.. Нет, интересный, здоровый такой и умный неврастеник... Что-то у него рухнуло... семья... У всех рухнуло, это точно... я же говорю: неврастеник... Значит, жена – дура или блядь... я почём знаю!»

Это, значит, я – интересный неврастеник. Откуда она взяла, что я умный? И откуда, что интересный. На слепую, кажется, не похожа.

В тот же день я переехал на Лиговку. Денег с меня дамы не взяли. Гусары денег не берут. Или не дают... Теперь надо было как-то проникнуть в бывшую квартиру, чтобы забрать свои

вещи и, кстати, деньги. Пришлось звонить Коробку. Коробков – это наш, вернее, теперь мой старинный приятель, один из лучших хирургов города.

– Слушай, ты куда пропал? Твоя тебя всюду разыскивает.

– Коробок, не суетись. Я никуда не пропал. Ты дежуришь сегодня?

Он не дежурил, машина его была на ходу, и он дал слово, что наша поездка умрет вместе с нами. Не умрет, но пару дней я выиграю. Мы приехали как раз в то время, когда моя бывшая должна была быть на репетиции своих студентов – я её расписание ещё не забыл. Мне понадобилось всего двадцать минут, чтобы всё собрать, и я навсегда покинул мой дом. Совсем недавно я был здесь счастлив. Счастье – это, когда с удовольствием идешь на работу и с удовольствием возвращаешься домой. Теперь не было дома. А работу я в гробу видал, если нет дома и счастья.

Через день я не выдержал и поехал к Кате в школу. Моей бывшей там не должно было быть, так как шёл третий урок. Директриса – тощая злая блондинка, с невымытыми прядями жидких жирных волос и в огромных очках на кончике носа – никак не могла врубиться. Куда я уезжаю, зачем, насколько. Почему внезапно. Дура. Но я бы ей засадил. Поставил бы мордой в стол, юбку на голову, «ноги на ширину плеч» и тут же в кабинете... Как врага народа. Наконец, сжалилась. «Хорошо. Через пять минут перемена. Можете взять её на историю. Но чтобы к математике была! Выпускной класс, все-таки!» – «Будет к математике. И к русскому». – «Русский уже заканчивается». – «Как?! Совсем? Не может этого быть!».

О чём мы говорили? – Так, не о чем... Она ела мороженое и вяло спрашивала, думая о своём, куда я уезжаю и где я был последние дни, я что-то врал, она не вслушивалась. Стала совсем взрослая. Потом я её поцеловал и она меня... «Я тебя очень люблю, Катя». – «И я тебя, папа!» Это было искренне. Она меня любила, а я без неё жить не смогу. Раз не смогу, значит, не буду. Вечером я позвонил Коробку.

– Ты где, ты что, с ума сошел. Твоя уже все морги, больницы обзвонила, милицию на ноги поставила.

– Это она умеет ставить... раком. А сумасшедшие дома ещё не пробовала?

– Перестань.

– Значит, попробует!

– Ты где?

– Я в командировке. На днях вернусь.

– Это точно?

– Точно! Через три дня проверишь. Увидимся. А пока у меня вопрос.

– Подожди. Я могу ей сказать?

– Можешь. Мы все встретимся.

– Какой вопрос?

– Ты как-то рассказывал про сонную артерию и яремную вену. Помнишь? Разговор шел о кошерной пище.

– Припоминаю. А на что тебе это сейчас?

– Надо. По работе. Пишу о кошруте.

– Для кого? Ты же не еврей. Что, оборзел совсем?

– А ты в антисемиты заделался на старости лет?!

– Да нет. Я же полукровка. Господи, о чем это я...

– погоди. Потом объясню. Халтура подвернулась. Скажи, а где у человека эта артерия?

– Хочешь порезаться?

– От твоей занудности зарежешься. Не хочешь, не говори. Узнаю в справочнике.

– Arteria carotis externa... Так, нащупай кадык. Указательным и средним пальцем. Теперь перемещай пальцы в сторону, пока не нащупаешь мягкое углубление. Чувствуешь пульс? Это

она. Можно от мочки уха прямо вниз. Только не надавливай сильно. Уснешь. И не проснешься. Шутка! Но вообще с ней не балуй. Она дама опасная.

– Спасибо, эскулап-полукровка. До воскресенья.

Следующий день я бродил по Ленинграду. Стало

сухо и чуть подморозило. Прошёлся по набережной, присел у Медного всадника. Что бы ни было – чудный город, и счастье, что свою жизнь я прожил здесь. Потом по Мойке к Поцелуеву мосту, а там на Театральную. Постоял, посмотрел на Консерваторию. Вспомнил. Стоял бы и стоял. Если всё вспоминать, то неделю простою. А у меня всего один день. Затем зашёл в Никольский собор. Просил, просил Его. Не простит. Это Он не прощает. Ещё неизвестно, похоронят ли меня в пределах кладбища. Сейчас атеизм на дворе, могут похоронить. Впрочем, это не моя забота. Вечером отужинал в Кавказском. Хотел сильно погудеть и выпиться. Не получилось. Пожевал травы, пригубил коньяку. Почти всё осталось. Официант сильно удивлялся. На улице позвонил из автомата. Подошла Катя. Я слышал, как она дышала в рубку, волновалась. «Алло, алло, кто это? Алло!». Я тихо сказал: «Катя» – и воровато повесил трубку.

Утром долго мылся, брился. Закрыл входную дверь на самый простой замок. Смотрел в окно. Там шли люди. Выпить – не выпить? Решил не пить. Пьют от страха, а я не боялся. Мне надо было уйти со светлой головой и в радостном состоянии духа. Я позвонил Ларисе и попросил заехать сегодня в самое ближайшее время на квартиру и не удивляться. Она заинтересовалась. На столе оставил деньги, которые я был бы ей должен за проживание и за необходимую после меня уборку.

Помешать мне никто не мог, поэтому я в ванной не закрылся. По радио бодро пел Лев Лещенко. Пустил воду, подождал, пока наберётся почти полная ванна, выключил воду, чтобы не организовать протечку, лёг в неё и полоснул себя там, где была наружная сонная артерия – *arteria carotis externa* и заодно яремная вена. Стало легко и спокойно.

Если бы вы видели, какой фонтан крови полыхнул под потолок! Фейерверк. Вот Лариске придется убирать! Мое тело смешно дергалось, руки цеплялись за края ванной, будто я хотел выбраться – хрен тебе, уже не выберешься, рогатый мудака. Захотелось спать. Спать. Ножки засучили, и я вдруг выпрямился в струнку и замер. П...ец тебе, Саня! И в этот момент я увидел Тиберию Юлия Александра. Он приветливо поднял руку в приветствии, приглашая меня присоединиться. Отчего бы и нет?!

Никаноров бросил окурочек в помойное ведро, сделал трезвое лицо и начал подводить под мою грудь крючковидную тупую рабочую часть рёберных ножниц с тем, чтобы рассечь рёберное сочленение надвое. Хруст был оглушительный. Я даже обрадовался. А за окном туман рассеивался. Завтра будет сухая солнечная погода. Температура умеренная. И слава Богу. Хоть похоронят, не простужаясь. В прозекторскую вошел военный со слащавой улыбкой пассивного педераста и что-то стал спрашивать у Никанорова. Говорил он на ухо шепотом, хотя в прозекторской были одни жмурики. Никаноров разводил руками, мол, не до этого сейчас, занят. Но педерастичный особист затрепетал ручками: надо, друг, надо. Уж лучше сам, чем мы под руки поведём. И они вышли.

Это был не сон, а, скорее, виденье. Девочка, лет четырнадцати, голубоглазая, черноволосая, босая, худенькая, подошла и спросила: «А правда, что ты – из рода священников, из Дома Ирода, сын Александра Арабарха, главного сборщика податей?» И Тиберий Юлий Александр хотел сказать, что это есть правда, но не смог. Александр Арабарх – повелитель арабов – был не только обладателем крупнейшего в Римской Империи состояния, но и правоверным евреем, содержавшим в роскоши царя Иудеи Агриппу Первого, щедро одаривавшим дома призрения для евреев в Александрии, но, главное – отчислявшим несметные суммы на отделку золотом и серебром девяти ворот Второго Храма. Храма, разрушенного его сыном – Тиберием

Юлием Александром. Иосиф Флавий уверял, что Тиберий Юлий Александр, как и будущий Император Тит Флавий Веспасиан, были якобы против его разрушения. Однако Тиберий Юлий Александр знал, что это есть ложь, а прав Тацит: и Тит, и Тиберий Юлий Александр настаивали на разрушении Храма как логическом завершении кампании и, главным образом, как на необходимом акте для предотвращения последующих катаклизмов, которые могли бы привести к необратимым последствиям. И опять приходила девочка, голубоглазая, худенькая, в неподшитом грубошёрстном хитоне до колен и спрашивала: «А правда, что Филон Александрийский – твой дядя?» И опять не мог дать ответ Тиберий Юлий Александр. Филон Александрийский – гордость иудейства и слава Александрии. Он был знаменит не только как комментатор книг Ветхого Завета. О, Тиберий Юлий Александр был образованным и мудрым человеком. Он прекрасно знал, что значит в иудейском мире имя Филона. При всем том, что метод его толкований и характер интерпретаций были тесно связаны с философской традицией платонических школ, Филон был предан если не букве, то духу иудейской веры. Своим толкованием он воссоздал истинную философию Моисея, превосходящую глубиной всё, что известно образованному человечеству. Как мог быть он – Тиберий Юлий Александр – беспощадный победитель в Великой Иудейской войне, кровавый усмиритель волнений в еврейском квартале его родного города Александрии, вызванных известиями о начале восстания в Иудее, когда его легионы уничтожили, по словам того же Иосифа Флавия, более 50 тысяч мирных жителей – евреев, мог ли быть он ближайшим родственником философа, апологета иудаизма, теолога, истолкователя греческого варианта Ветхого Завета, особенно книги Бытия, мыслителя, почитавшего Тору фундаментом общечеловеческих принципов, а книги Моисея – Боговдохновенным словом... Не мог он быть племянником Филона Александрийского. Но был.

Девочка исчезала, растаивала, но он всё доказывал ей вслед, доказывал. Ведь он – Тиберий Юлий Александр – великий полководец, сравниваемый современниками лишь с Александром, Помпеем, Юлием, Корбулоном и Ганнибалом. И не есть ли воинский долг весомее долга крови и веры. Воинский долг, человеческий, гражданский. Ведь он – Тиберий Юлий Александр – гражданин Рима. И не просто гражданин, он – «друг Императора». Много титулов он имел: Генерал Империи, Префект Иудеи при Императоре Клавдии, Префект Египта при Нероне, Начальник Преторианской гвардии. Однако главный свой титул он заслужил первого июля 69-го года, когда египетские легионы под его командованием первыми провозгласили Веспасиана императором. Он первым приветствовал появление новой императорской фамилии и, как писал позже Иосиф Флавий, «с безотчетной преданностью связал свою собственную судьбу с тёмной ещё будущностью этой династии». Во все времена положение и звание Друга императора, диктатора или деспота значило значительно больше всех других званий и регалий. Не ценить сей дар Судьбы и Богов было невозможно. Это перевешивало все другие аргументы. Но голос крови, вернее, воспоминание о голосе крови всё время не давало его душе найти успокоение, кололо, будоражило.

Тиберий Юлий Александр ещё долго говорил, доказывал: когда он был Префектом (Прокуратором) Иудеи, эта страна получила долгожданную передышку, ибо вел он разумную и доброжелательную политику

невмешательства во внутренние дела сынов Израилевых. Он никогда не покидал, по сути, веру своих предков, хотя Иосиф Флавий и утверждал, что «...он не остался в вере своих отцов». Однако эта ремарка может означать не что иное, как поверхностное, формальное соблюдение еврейских законов, возможно, их *несоблюдение*, но отнюдь не переход в язычество, официальный отказ от своего иудейства. Голос крови...

Постепенно он переставал слышать и понимать сам себя. Он долго бродил, искал девочку в драном хитоне, но не находил её среди теней.

Сие видение преследовало Тиберия Юлия Александра постоянно.

3

КОГДА я просыпаюсь, долго не могу понять, где я. Причем, просыпаюсь несколько раз. Сначала во сне, потом опять во сне и только потом наяву. В своей комнате, а не в тех помещениях, где когда-то жил или вообще не жил, но во сне казалось, что жил. Раньше просыпался с чувством радости, так как сны бывали кошмарные, особенно после алкоголя, который обильно подпитывал мое тело и, особенно, душу. Пил же я ежевечерне, кроме Постов. Часто я приказывал себе проснуться, потому что происходившее во сне было невыносимо. Ныне же просыпаюсь с горечью. Возможно, по причине уменьшения принимаемого алкоголя сны стали ласковее и светлее – вспоминательные такие сны. А может быть, потому, что жить стало совсем не лучше и не веселее. Херовее стало жить. Старость, плюс плохой, вздорный характер, плюс ощущение жопы во всём происходящем снаружи. Всюду. Мир сошел с ума и катится в пропасть, сам того не замечая. Более того, радуясь увеличивающейся скорости: хорошо несёмся, с ветерком. Но главное, просыпаясь, я могу записать всё то, что происходило во сне со мной, с моими друзьями и продолжать следить за их существованием, странным и неизбежным. Впрочем, возможно, я путаю. Возможно, то, что происходит наяву, и есть сон. И именно ночью, когда я будто бы сплю, я записываю всё то, что, как кажется, происходит будто бы наяву. Не записывать я не могу.

Сегодня ко мне приходил Тиберий Юлий Александр. После моих похорон мы с ним подружились. А похороны были смешные.

Похороны были смешные. Вообще мне всё было смешно. Смешные люди волокли, спотыкаясь и матюгаясь, гроб с моим телом. Смешные старушки привычно пристроились позади жиденькой процессии. Я почему-то думал, что народу будет больше, тем более что установилась сухая солнечная погода и температура была умеренная. У Сухановых, знаю, на носу свадьба сына, правда, через неделю, но они уже были заняты по горло: она в день моего замогиливания примеряла платье у портнихи, а он запасался водкой, так как выданных во Дворце бракосочетания талонов явно не хватало: у них гости будут пьющие, сам был такой. Так что им не до похорон. Розенблюм подшит, поэтому Циля на похороны его не пустила, чтобы не нажрался на поминках. Маламарчук писал в своем КГБ на Литейном 4 отчет о проделанной работе с нигерийскими коммунистами: сколько потрачено на проституток, сколько на водку, сколько на презервативы, сколько... хрен знает на что. И слава Богу, только его мне не хватало на моих похоронах. Потом настучит, что я в гробу ухмылялся над Советской властью. Могилка была чистенькая. Тиберий Юлий Александр с завистью подумал: меня, мол, в мокрую глину закатали.

Моя благоверная была в чёрной шляпке с кружевной вуалькой, которая шла ей и эффектно оттеняла пепельную россыпь волос. Чёрное платье – грустно, но с достоинством – ниспадало из-под волчьего полушубка, купленного нами в комиссионке на Васильевском за 700 рублей. Она достоверно и постоянно пыталась упасть в обморок. Синие губы были не окрашены, что означало: она в трауре. Её поддерживали моя теща и мама. Тёща подносила своей дочке нашатырь, а мама плакала. Художник стоял поодаль, держа под руку свою законную беременную жену. Конечно, вдова ему была уже не нужна. Красивых жен ещё много. Лариска и эта в дубленке стояли с испуганными и недоуменными лицами – ввязались на свою голову. Моя вдова опять чуть не ё...нулась прямо на гроб, её поддержали. Я молча сказал: «Настя – сука!». Настя вздрогнула, обернулась, Значит, слышала. Смешно. Неужели я когда-то её любил, ласкал, ревновал? И думал, что она меня любит. Идиот! И неужели я так и не научился прощать?! Коробок что-то хотел сказать, но чуть не разрыдался. Хирурги нынче нервные пошли. У всех остальных были уныло постные лица. Лишь Катя окаменела, и мама тихо плакала. Папа, знаю, лежал в реанимации. Что будет дальше, меня не интересовало. Зако-

пают, потом поедут поминать, запузырят весь алкоголь на халяву, споют «Что-то кони мне попались привередливые» или про журавлиную стаю, Николай будет блевать, а Костик смотреть в спальне «Соломенную шляпку», убавив до минимума звук. Ему всегда всё до лампочки. Катя с мамой будут сидеть, обнявшись и раскачиваясь, на кухне и молчать. Они практически ничего не ели. Я снова переживал историю Тиберия Юлия Александра. Вот угораздило мужика!

Кто ещё здесь не был, тот не знает, поэтому просвещу: здесь не разговаривают. Здесь те, кто обменялся древнеримским приветствием со вновь пришедшим, закрепив тем самым договор о взаимопонимании, читают мысли и чувства без слов. Всё равно, мысль, выраженная в словах, есть ложь. Это общеизвестно. И вообще... Здесь нет времени, дней, ночей, тьмы и света, здесь ничего не видно и не слышно. Здесь ты просто существуешь. существуешь и осматриваешься. Первые часы или дни, или недели, ты ещё среди людей. Но уже в другом мире. Ты не видишь реальных людей, не слышишь. Ты просто знаешь, что они делают, как выглядят, что говорят и что чувствуют или думают. Если бы я был жив, это было бы интересно. Ибо почти всё, что они говорят, чувствуют или думают, есть ложь. Но сейчас и мне, и Тиберию Юлию Александру, и генералу Улагаю, и Жоре «Квазимодо», зарезанному в драке под Новый год, и дорогому товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву, помершему примерно лет пять до того, как я полоснул себя в чужой ванной по этой сонной артерии и ещё мог понимать движение времени, и Софье Сигизмундовне – всем нам было абсолютно безразлично, ложь это или правда, и кто что думает, делает, говорит. Мы – это просто знание друг о друге. Пробыв некоторое время – уже не ясно, какое, – среди живых людей, мы ушли от них, они перестали быть нашим сознанием, они исчезли, как исчезает занимательный, но моментально забытый сон. Чёрная пустота. Это трудно объяснить и ещё труднее понять. Но вы, когда попадете сюда, меня поймёте, хотя и не вспомните. Вы ничего не вспомните. Только будете жить знаниями тех, кто приветствовал ваше появление здесь древнеримским приветствием или тем, что показалось мне древнеримским приветствием, в том миг, когда я соскочил с подножки плетущейся конки реальной жизни и был ослеплен сияющим светом, моментально погасшим. Мир сюда входящему.

Моё существование в ином – лучшем – мире было знанием светлым и полным. Я чувствовал мысленную жизнь Софьи Сигизмундовны, дорогого товарища Хрущева или Барклая де Толли. Так, Софья Сигизмундовна, прибывшая сюда вслед за мной и ещё не оторвавшаяся от сна реального существования, думала о Птолемее. Он может выйти к вечеру гулять и не вернуться. Гаврила Карлович останется совсем один. Он наверняка всполошит всех своих старых знакомых в органах, коих у него было много, те напрягут молодежь, всё обыщут в Москве и ее окрестностях, но Птолемея не смогут найти. Гаврила Карлович останется совсем один. На его похороны не придет ни один человек. И Птолемея не придёт. Она страдала, как страдает душа человека, познавшая напрасность земного существования и грех терпимости к злу. Она жила со злом, мирилась с ним, терпела, покрывала. Никита Сергеевич чувствовал мысленную жизнь Нины Петровны и Ефросиньи Ивановны и стремился найти их. И его душа была наполнена ужасом познания своих предательств и преступлений: его преследовали тела убитых в Новочеркасске, высохшие от голода трупы украинских крестьян, сваленные в траншеи, тень репрессированной жены сына Леонида. У него, оказывается, была когда-то совесть. Барклай терзаний не знал: всё, что он делал, было достойно, обид же на современников и потомков, оболгавших его, он не держал: здесь обид вообще не держат. Тиберий Юлий Александр не мог понять той посмертной славы, которая досталась Понтию Пилату, этому злобному мздоимцу, провокатору, антисемиту. Что знают о Пилате? – Одни сказки, ибо никому в Риме он не был интересен. Даже первое имя его неизвестно. Пилат Понтийский – лишь прозвище, обозначающее отличительную особенность человека или рода. То ли из римских всадников, то ли из германцев, коих охотно набирали в конницу. Может, сын короля Атуса, любителя астрономии, и красавицы Пилы, подвернувшейся королю. А возможно, из старого римского всаднического

сословия, среди которого затесался какой-то метатель дротиков. Скорее всего, сам Пилат был центурионом или старшим центурием когорты копьеметателей – Homo Pilatus. И как умер, никому не известно. Сам вскрыл себе вены по пути в Рим после устроенной им резни в Самарии, когда был отозван рассвирепевшим Тиберием, которому этот «верный ученик» патологического антисемита Сеяна был не нужен во взрывоопасной Иудее. Или, преследуемый неприятностями, покончил жизнь самоубийством, сосланный приемником Тиберия – Калигулой во Вьенн в Галлии. Говорили, что тело его было сброшено в Тибр или в Рону, реки брезгливо отторгали труп, окончательно останки Понтия были затоплены в бездонном озере в Альпах. Собачья смерть. Как жил, так и сдох. И никто толком им не интересовался, никто о нём не знал и не знает, но со временем стали писать, и с каждым столетием его образ всё светлел и светлел прямо пропорционально возрастающей в цивилизованном мире ненависти к иудеям. – Эфиопская православная церковь, – подумал я, – почитает его в лике святых и даже канонизировала его жену Прокулу. – Естественно, – это Тиберий Юлий Александр, – первоначальная ненависть христиан к Пилату сменялась почитанием его, что компенсировалось возрастающей ненавистью к иудеям. Эта ненависть делала из ненавистника евреев, ничего не знавшего, и знать не желавшего об их религиозных верованиях, чуть ли не святого, одного из главных персонажей легенды о каком-то Иисусе. – Что, кровь заговорила? – подумал я. – Причем здесь кровь, – подумал Тиберий Юлий Александр. – Вековая ложь не наказана: самый жестокий и враждебный иудейству управитель стал чуть не святым одной из иудейских сект. – Христианство – это уже не секта! – Тем более. – И оттеснил тебя! – И оттеснил меня! Моя судьба достойна того, чтобы занимать умы и души людей, а не этого ничтожества. – Конечно, Пилат был германцем или римлянином, его жестокость по отношению к евреям, если не оправдана, но хотя бы объяснима. Ты же – иудей, из древнего и знатного еврейского рода, давшего Филона Александрийского, и твои кровавые деяния в иудейском мире достойны изумления!.. Какая благодатная тема! – Бесспорно! – Перестань... Какое это уже имеет значение?

– Какое это имеет значение? Эрмитаж, Филармония! Много ты ходишь в Эрмитаж?

– В Филармонию – часто. А сам факт того, что в любое время ты можешь пойти в Эрмитаж или Русский...

– Перестань! Филармонии и там есть. И не хуже нашей.

– Не хуже, но не наша.

– Ты сама мне цитировала Мережковского: «Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли все мыслимые злодейства, а то, что они существа другого мира».

– Правильно! Так надо бороться с ними здесь, а не драпать. Делать ноги – подло. По отношению хотя бы к нашим друзьям.

– Танюша, родная, так наши друзья либо уже на полпути, либо сидят на чемоданах и при первой возможности...

– Не все!

– Не все, но многие. А те, кто остаётся, поверь, созреют рано или поздно. Если не посадят или не разотрут в порошок, лишат профессии, личной жизни. Существа другого мира...

– А остальные, что, не люди?

– Люди, Тань, и в большинстве своём хорошие люди. Но им нравится жить так, как они живут. Они не просто привыкли, они не понимают и не хотят понимать, что это не жизнь. Ты послушай, что говорят о Сахарове порядочные люди, не партийные ублюдки!? Что ему, мол, ещё надо: академический паёк, «кремлёвка» – всё почти бесплатно, личная машина ЗИС, квартира – хоромы, дача, три звезды Героя, Сталинские премии – как сыр в масле катается, а ещё рыпается. То, что человеку нужна не только колбаса и отдельная квартира, им не понять! Те, кто это понимал уже давно – с 17-го года сигают за кордон. И ты хочешь бороться? – С кем?! С этими хорошими людьми, которым всё нравится? Ты хочешь силком на аркане пота-

щить их в мир разума и справедливости, в мир, где надо думать и работать? Ты хочешь превратить их из очень симпатичных баранов во львов? Это бараны ходят стадом туда, куда их погонят – радуются этому; львы – поодиночке и куда хотят. Гнать кого-то стадом к лучшей жизни – большевизм чистой воды, только с другим знаком. Все эти хорошие люди порвут того, кто попытается шелохнуть устоявшийся миропорядок, венцом которого являются шесть соток в Синявино. Ты помнишь, что говорили в 72-м во время процесса Буковского? – Говорили не тёмные замордованные бытом люди, а наши коллеги, интеллигенты, слушающие «голоса», питающиеся «Хроникой текущих событий» – помнишь?!

– Помню. Но Юрий Орлов открыл на днях Хельсинскую группу.

– Это личность удивительная, мужественная и благородная. И физик выдающийся. Но, поверь, долго на свободе он не погуляет. Не только Хельсинскую группу не простят, но и Международную амнистию, и письмо в защиту от клеветы Буковского. Главное – не простят независимости мышления и свободы поведения. Это для чекистской своры есть не просто преступление. Это – нарушение сакральных запретов, это – скверна, подлежащая немедленному уничтожению. Звания, научный авторитет, международное признание не помогут. Растопчут. Да, он в отличие от нас, умрёт, дай Бог ему долгих лет, с чистой совестью: он сделал всё, что мог. Но ничего и его подвиг, и подвиг десятков других не изменит.

– Этого не может быть! Не может! Это мертворождённая система, и она обречена.

– Обречена. Хотя... Армянское радио спрашивают; «Доживем ли мы до коммунизма? – Мы не доживем, но детей жалко!» Когда-нибудь рухнет, но придёт нечто другое и, возможно, более страшное. Попомнишь мои слова: не пройдет и двадцати лет, как этого Бровермана будут вспоминать с ностальгической тоской: мол, мудака был Леонид Ильич, конечно, но не кровавый, не ворюга, и колбаса была за 2.20. Бровастый даже не этот петрозаводский стихоплет, до смерти напуганный в 56-м. А за Андропом стоят другие – молодые, тупые, стихи не пишущие и не читающие. Лучше не будет по определению. Какие-то просветы возможны, но в целом... Будет хуже.

– Но, Миша, есть же какие-то закономерности развития. Бывают отклонения, есть провалы, как в Германии 30-х годов. У нас это продолжается дольше. Но закончится, рухнет. Всё же должно быть общее поступательное движение, подчиненное вселенскому разуму. Не может жить огромная часть человечества – и далеко не худшая, по принципу сменяемости катастроф и деградаций?

Миша долго молчал.

– Тань... Может... Русский народ обычно не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией...

– Но там нет Перельмана.

– Да, там Натана Ефимовича нет. Но, Танюша то, что он тебя прослушал, ещё не значит, что он возьмет в свой класс. Всё это важно, но, пойми, второстепенно.

– Но там, прости меня, одни евреи. Чужой язык, все чужое. Миша, ты сам оговорил, что в большом количестве...

– А вот это другой вопрос. Я тебе говорю про вызов из Израиля, а не про конечный пункт. Хотя не путай израильтян и Фиму из вторсырья. Правильно говорят, что в любой нации есть свои евреи. Я – полукровка и, конечно, человек русской культуры. Однако считал бы за честь быть вместе с этими людьми, выбравшими свободу и умеющими ее защищать от многомиллионной сволочи. Хотя и там есть свои Фимы из вторсырья.

– Я боюсь. Миша, я боюсь. Ты хоть врач, хирург – золотые руки. Я же кто? – Конь в пальто! Среднее музыкальное образование. А там – и в Штатах, и в Израиле мировых звезд – пруд пруди.

– Во-первых, тебе будет легче. Ты не звезда, прости, но учить музыке детей сможешь. Наша школа – одна из самых котирующихся в мире. Врачу же ох как трудно придётся под-

тверждать свою квалификацию, причём на языке. Но мы прорвёмся. Похлебаем говна, но прорвёмся. Я же люблю тебя. Это второе и главное!

– И я тебя.

– Не волнуйся. Обдумаем, не спеша. Как говорит Елена Георгиевна, коммунизм – это Советская власть плюс эмиграция всей страны. И ещё: умные люди, а евреи, как правило, люди умные, подразделяются на тех, кто уезжают, и на тех, кто думает, что не уедет.

– И на тех, у кого есть мужество остаться и жить так, как будто ИХ нет, или так, чтобы ИХ не было.

– Ты права, как всегда, Танюша. Но... разве не заманчиво начать новую жизнь?.. Ещё одну...

Таня обожала Ленинград. Таня любила Мишу. Таня была счастлива с Мишей в Ленинграде. Она была бы счастлива с Мишей в любой другой точке земного шара. Но не так, как в Ленинграде. В этом городе всё родное. Филармония, где она была завсегдатаем и завела подружку из капельдинеров – бывшую певицу «Ленконцерта» на пенсии, и «Елисейский», который она посещала после стипендии или халтуры, чтобы побаловать себя копчёной колбаской («200 грамм, мелко-мелко»), а после встречи с Мишей и отовариться по крупному: «полкило красной икры, пожалуйста, пеленгвица, грамм 600, осетрина, если свежая, 500 грамм; и хватит на сегодня». Толкучка у Львиного мостика, где в водовороте других людей – молодых и старых, приезжих и ленинградцев, грустных и беззаботных, трезвых и протрезвевших, беременных женщин без мужей и младших офицеров Советской армии с женами и чемоданчиками в руках – всех тех, кто пытался снять или обменять комнату или угол, – в этой толпе она довольно долго промаялась в поисках жилья, пока тетка Фелиция не сжалилась... И «Сайгон»... О, «Сайгон», – сказал бы поэт... Там – на углу Невского и Владимирского, в кафе рядом с рестораном «Москва», – был рай. В «Москве» степенно ужинали командировочные со случайными спутницами, гуляли удачливые цеховики и завмаги средней руки, доценты технических ВУЗов поднимали фужеры с водкой за новоиспечённых кандидатов наук, обманутый муж сидел в углу и хлебал свои сто пятьдесят с капустным салатом. В трех метрах от «Москвы» наблюдался Запад. В «Москве»: «две пол-литра, язычок с хреном две порции, семги три порции на четверых, огурцов соленых и котлетки по-киевски». В «Сайгоне»: «маленький двойной». Изредка – пятьдесят грамм армянского. И все. На весь вечер. Почему «Сайгон»? – Говорили, что какой-то мент сделал замечание закурившей девушке (периодически в кафе запрещали курить): «Что вы тут делаете? Сайгон какой-то устроили!». Так и повелось. Спасибо безымянному менту. Часто бывать там Таня не могла, времени не было, но когда вырывалась... Казалось, что она в другом мире, в другом измерении. Быстро миновав небольшой бар у входа, где давали коньяк, она устремлялась к Стелле, к которой постоянно была очередь: Стелла лучше всех заваривала кофе. Получив заветное: «маленький двойной», – она пристраивалась в уголке и наблюдала. Часто приходил Довлатов, он был в моде. Таня его рассказов не читала, но в «Сайгоне» говорили, что его «Компромисс» – почище Хемингуэя. Как-то давно, незадолго до высылки был Бродский. Один или со своими друзьями – «ахматовскими сиротами», Рейном, Уфляндом. Таня их стихи не знала, но уверяли, что Бродский – гений, травимый гебнёй. Поэтому он стал Тане симпатичен. Два раза она встречала в «Сайгоне» живого Смоктуновского. Это было незабываемо. «Идиота» в БДТ она, конечно, не могла видеть, так как в 1960 году, когда «князь Мышкин» покинул владения Товстоногова, ей не было пяти лет. Но она была на «Царе Федоре Иоанновиче» в Малом театре – Миша устроил ей подарок ко дню рождения – и это потрясло её. Да и фильмы: превозносимый «Гамлет» её раздражал примитивизмом ассоциаций, но Смоктуновский был прекрасен – и «Девять дней одного года», и Порфирий Петрович. Хотя Деточкин был лучше всех. Смоктуновский жил в Москве, но иногда приезжал в Питер.

...Кого только не было в «Сайгоне»: фарца с Невского и от «Европейской», хиппи, стрелявшие «прайс» на «маленький простой», известные и неизвестные джазмены, студенты МУХИ и герлы от «Фаллоса в лифчике», как точно прозвали идиотский монумент у Московского вокзала, изредка появлялись «суки в ботах», то есть, приезжие провинциалы, квартировавшие в гостинице «Балтика» по соседству, чаще – бакланы, филфаковцы и вечные профессиональные тусовщики. Кстати, здесь Таня познакомилась с Лешей, который обещал сосватать её Эдику – московскому портному, который шил классную джинсу для избранных, в его творении ходит сам Окуджава. Тане подвезло: пару лет назад на барахолке внутри Апрашки она отхватила чудный импортный вельвет глубокого бутылочного цвета. Из такого же материала она видела прикид у Лизы Минелли в журнале «Америка». Не знала, кому пристроить. И тут Леша в «Сайгоне»! Она отдала драгоценный вельвет, но... с концами. Этот чудо-портной – Эдик Савенко, ставший Эдуардом Лимоновым – намылился за бугор, так что плакали и вельвет, и мечта. Помимо мечты плакала и Таня, но недолго... Когда появился Миша, «Сайгон» сошел на диминуэндо. Миша не любил этот «богемник» и считал, что он полностью под колпаком гебухи: «ты посмотри на это зеркало во всю стену, вот там эти дятлы и крысы сидят, записывают, и снимают». Впрочем, и сайгоновцам Миша не глянулся. Таня слышала, как приколлист Федя сказал: «У Татьяны с Кулька унитаза на подтяжках появился!». Таня обиделась: в Кульке, то есть в «Институте культуры и отдыха» она никогда не училась, а училась в Училище при Консерватории, а это две большие разницы, и Миша не был «унитазом на подтяжках» или «конём педальным», то есть престарелым ухажёром. Он был единственным родным и любимым человеком. И тридцать пять лет – совсем не возраст для мужчины. Да и сотрётся разница довольно скоро. А жаль. Потому что Миша был не только выдающийся хирург, умница, эрудит, остро слов и верный друг, но мужчина. Таня не подозревала, что может быть такое. Даже кончики пальцев холодели, и сердце выскакивало из груди, когда он приближался к ней, притрагивался к её плечу или груди, легко целовал в мочку уха. Ещё они были единомышленниками, а это так немаловажно в совместной жизни. Так что и Пышечная на Садовой, около которой он подхватил её в тумане морозного рассвета, была родным местом, без которого она не представляла своей жизни.

Вообще здесь всё было родное: и та же гебуха, и очереди за колготками, и «Щель» у «Астории», и бочки с квасом, и запах корюшки в начале июня, и занудные соседи-моралисты, и белые ночи, и треугольные пакетики с молоком и кефиром, и ночные переключки на подписные издания, и даже ненавистная «Пионерская зорька», когда глаза не разомкнуть. А автоматы: где ещё в мире можно выпить стакан газировки за 3 копейки, если с сиропом, и за копейку без оного. Появились автоматы с квасом, пивом – бросил двадцать копеек и имей кружку, правда, сильно разбавленную водой, и даже с вином. Таня пиво и вино в автоматах никогда не пробовала. Радовал прогресс – того и гляди, Америку догоним по автоматам... Если уж пить пиво, то делать из этого действие, праздник. Отстоять с девчонками очередь, скажем, в пивной на углу Невского и Маяковского. Там по осени бывали раки и собиралась приличная публика, можно было встретить знакомых студентов Консерватории, они казались небожителями. Или попытаться прорваться в «Медведь», что напротив кинотеатра «Ленинград». Там при входе возвышался огромный мужик с белой ручной крысой на руках, крыса пила пиво из кружки, стоя на задних лапках. Это было круто. В «Медведь» хаживали известные спортсмены, барыги, мелкие киношные чиновники из Главка, расположенного в «Ленинграде», спекулянты театральными билетами и художники-неформалы. Или зайти с подружками в «Щель», а если география позволяет, то в низок на Невском рядом с ВТО. Взять сто на пятьдесят, конфетку и чувствовать себя королевой Шантеклера. Гляди и Стрижельчика встретишь. Честно говоря, Таня редко позволяла себе такие роскошества. «Сайгон» «Сайгоном», «Щель» «Щелью», а свои пять-шесть часов роялю отдай. К Михаилу Иосифовичу неподготовленной идти было невозможно. Плюс ансамбль, аккомпанемент, лекции по музлитературе, гармония, сольфеджио. А

история партии, физкультура в зале или в садике около Института Лесгафта, педпрактика и прочая мутотень! Как без этого можно жить?..

И жить, что ни говори, стало лучше, верно же ведь, Миша. Все катаклизмы 60-х, вся эта дурь с позором в Чехословакии позади. Сытнее, наряднее. Кофточки импортные, сапожки, плащи, даже итальянские шмотки! Да, с очередями, да, по благу, да, с переплатой, но – раньше разве было такое?! – «Это пока нефть дорогая», – бормотал Миша, но как-то неуверенно. И свободнее. Да, Солженицына выслали, а могли и посадить. – «Точно, мог и бритвой полоснуть», – парировал Миша, однако и это было неубедительно. А выставка в ДК Газа, случившаяся два года назад? Разве можно было представить себе нечто похожее даже в вегетарианские время Никиты, не говоря уж об одуревших нынешних старцах? Обошлись без бульдозеров – прогресс! Таня простояла два часа на морозе, ног она уже не чувствовала, но свои 30 минут, отпущенные милицией на осмотр выставки, она провела с максимальной пользой. Более того, когда художники, по договоренности с ментами, взявшись за руки, стали выдавливать очередную партию зрителей, чтобы впустили следующих, она пристроилась к Юрию Жарких, организатору выставки, и заморочила ему голову минут на десять, выгадав для себя ещё полчаса. Смышлёная Таня не столько знакомилась с картинами, сколько с их авторами, справедливо полагая, что в домашних условиях она увидит и узнает значительно больше. С Белкиным и с Рухиным не удалось, а вот с Овчинниковым, Юрой Галецким и Андреем Геннадиевым – вполне. Там же она была представлена и отрекомендована Жоре Михайлову, то есть получила официальное разрешение посещать его квартиру, этот заповедный центр гонимого искусства. Таня была счастлива.

(То, что Жору года через полтора посадят, и он от звонка до звонка будет валить лес в Сусуманской зоне на Колыме, а по освобождению опять пойдёт уже по расстрельной статье – будучи в зоне не уследил за судьбой своих картин, оказавшихся народным достоянием, от расстрела его спасет начало Перестройки и президент Франции Миттеран, – обо всём этом Таня догадываться, конечно, не могла.)

Главное же – она не представляла свою жизнь без Матвеева переулка и, возможно, дай-то Бог, без Театральной площади. Она заканчивала у Михаила Иосифовича ми-мажорной Прелюдией и фугой Баха из первого тома, Седьмой сонатой Бетховена, Ноктюрном до-диез минор и Четвертым этюдом Шопена, Третьей сонатой Прокофьева и До-минорным концертом Моцарта. Года три назад ей удалось попасть на концерт Рихтера. Он играл этот концерт, дирижировал Николай Семенович Рабинович – легенда и гордость ленинградского дирижёрского искусства. Таня вообще-то предпочитала Гилельса – волшебника фортепиано, но то выступление Рихтера с Рабиновичем и оркестром старинной и современной музыки было потрясением, и она дала зарок окончить Училище этим концертом. Михаил Иосифович долго сопротивлялся, но, когда она сыграла ему экспозицию первой части, сдался. Таня молилась на него, каждый урок был для неё спектаклем, на котором Михаил Иосифович был и режиссёром, и артистом, и педагогом, взыскательным и профессионально требовательным. Это было праздником, как, конечно, вся её жизнь в Училище на Матвеева. Праздником изнурительным, изматывающим, но праздником. Помимо этого, от Училища было рукой подать до Пряжки, где лежала Настя – жена, вернее, уже вдова несчастного Сани, так нелепо и страшно погибшего. Оставить Настю, уехав из страны, Таня тоже не могла и не смогла бы. Всё это ложилось на весы в ее спорах-размышлениях с Мишей, которые в последнее время делались всё интенсивнее. Однако маленький юркий червячок соблазна начать все заново, попытаться прожить ещё одну новую, манящую своей неизведанностью жизнь, этот червячок медленно, но упорно делал свое дело, подтачивая непоколебимую уверенность Тани в невозможности бросить всё родное и привычное...

Увы, от всех переживаний и раздумий носик не потерял свою строгость, ямочка на левой щеке не перестала свидетельствовать о непобедимости оптимизма в Таниной душе, брови

удивлялись и легкомысленно взлетали. Только глаза, обрамленные мохнатыми ресницами, потемнели, но это даже и к лучшему – вид серьезнее.

Незадолго до выпускного экзамена, прямо после ночной репетиции в зале, рано утром они расписались «в рабочем порядке» в районном ЗАГСе на углу Садовой и Майорова, и Таня стала Коробковой. «Мадам Коробкова – разве это звучит? Особенно где-нибудь на Западе!» – «Ничего, Танюша, зазвучит». Кто знает... Всё может быть, всё...

– Всё, всё может быть, голубчик! Ваше дело, Никодим Петрович, трупики резать, – сладкоголосый капитан нежно обхватил Никанорова за талию. – Наше дело думать. Вот отстоите полчаса и пойдете к своим мертвякам.

– Что, больше некому? – Никаноров брезгливо снял руку ласкового чекиста.

– Меньше спрашивайте, голубчик, целее будете!

Они вошли в церемониальный зал прощаний, посередине которого стоял дорогой гроб. У входа маялись с растерянными лицами гебисты в форме и в штатском. Из административного корпуса ввели знакомую машинистку, затем Клаву-буфетчицу. Тетя Глаша, уборщица, вошла сама, тут же встала к гробу и сразу же заплакала, запричитала. Обильно оросив синий форменный халатик, она отдышалась и спросила у вошедшей секретарши Зои: «А кто это?»

– Кто это? – повторил вопрос Никаноров.

– А... гусь лапчатый. Кто его знает. Литературный критик.

– У вас и критики на довольствии?

– У нас, милоч, все на довольствии. Стой и делай умную рожу. Рыдать не обязательно. Постоишь, а потом будешь его потрошить в своё удовольствие.

Вошел полный, вечно влажный секретарь партбюро и, по случаю, председатель похоронной комиссии, с красным лицом и одноименной повязкой на рукаве лоснящегося пиджака. Остановился, пересчитал: «три... пять, шесть... достаточно» – и сказал: «Что ж, можно начинать, товарищи».

Тетя Глаша резво заплакала, Зоя переглянулась с машинисткой, и обе скорбно опустили глаза. Типичный зам по идеологии, остроносый, с тонкой шеей, утиным носиком и бесцветными глазками, надел очки, вынул скомканную бумажку и откашлялся. Никаноров вспомнил, что у него есть записка.

...Есть записка. Как он мог о ней забыть?! Впрочем, зачем ему о ней помнить? Ну, закатал в коврик. По привычке. По зову крови. А зачем? Кормили здесь отменно. Сахарная косточка – через день. Тёплая похлебка, хлеб, который люди едят, с хрустящей корочкой. Все эти лакомства давали не только в первые дни. Кеша прекрасно понимал, что Лопухий хочет сделать его – Кешу – своим другом, отучить от сдержанного глухого, но угрожающего рыка при его приближении, от разрывающей пасть зевоты, обнажавшей огромные желтоватые у основания и голубоватые у острия клыки, от ненавидящего взгляда исподлобья, от поджатого хвоста, означавшего, что Кеша готов к нападению. Поэтому Лопухий подходил с яствами, осторожно ставил полную миску перед Кешей и долго смотрел ему в глаза, улыбаясь одними губами. Глаза были колючие, насторожённые, пытливые. Кеша знал, что другом Лопухого он никогда не станет, что он убежит, во что бы то ни стало, и найдёт Хозяина, что Лопухий ему враг, но не личный, не тот, которому вырвать горло так же необходимо, как вдохнуть полной грудью воздух, выныривая из-под гуши воды. Личными врагами были те двое, которые вошли тогда в калитку быстро и властно и которых Кеша даже не заметил, так он разомлел в тот чудный последний день своей прежней жизни. Он видел сны, в которых эти двое лежали на земле, а на том месте, где было горло, зиял чёрный дымящийся провал. И он знал, чуял всем своим нутром, что сон станет явью. От Лопухого также пахло опасностью и волчьей враждебностью, как и от тех двоих, но Кеша уже понял, что от всех окруживших его нынче людей так же пахло

злостью и мертвечиной, и ему придется ещё долго находиться среди этих двуногих зверей. Пока не убежит. «Убегу!»... Знание этого давало ему силы хлебать похлебку, которая в прошлой жизни показалась бы ему подарком судьбы, и лениво грызть мозговую косточку, не захлёбываясь слюной и не дрожа всем телом от восторга. Скорее, его охватывал озноб от отвращения к себе, к этим деликатесам и к этому новому человеку в его жизни, который так старался показать себя его другом, приручить и приучить к себе и который почему-то называл его Рексом.

Первые дни Кеша отворачивался от нестерпимо сладостно пахнувшей миски, отползал в сторону, быстро глотая безостановочно набегавшую слюну, захлёбываясь ею. Однако потом понял, что теряет силы, слабеет. Этак я не найду моего Хозяина, – и стал есть. Вкусная и обильная пища, оказалось, была не только и не столько приманкой для знакомства. Она стала привычной и необходимой составляющей рабочего дня, как пробуждение, прогулки, тренировки, выполнение разнообразных заданий. Если задания не выполнялись другими собаками, то их лишали мозговой косточки, тёплой похлебки, хлеба. Однако Кеше это не грозило. Всё, чему так упорно учили его вынужденных товарищей по вольеру, он делал безупречно, автоматически, не задумываясь, вызывая изумленные возгласы двуногих зверей. «Глянь, Иваныч! Так он лучше нас понимает!». Или: «Слушай, ты уверен, что он необученный? Такого не бывает, ёк-макарёк!». Вскоре изумление и восхищение сменилось всё возрастающим раздражением, потому что Кеша непреклонно не становился Рексом.

Все те первоначальные навыки, которые постигались молоденькими собаками довольно длительное время, он даже не усваивал, казалось, что они у него были в крови с рождения. На новую кличку он стал реагировать незамедлительно, хотя прекрасно знал, что он Кеша, а не Рекс. Двуногие почему-то считали, что в кличке обязательно должен присутствовать звук «Р», похожий на рычание. Пусть будет так. Главное не вызывать у них подозрений. Все эти дурацкие команды – «Sitz», «Steh», «Platz», «Fuss», «Hier», «Bring», «Fass» – он даже не пытался понимать и запоминать. Тело само выполняло эти указания, ориентируясь даже не на интонацию, а на смысл сказанного, что изумляло двуногих. Специально приходили посмотреть на него, но Кешу это не радовало и не наполняло чувством гордости, как это было при похвале Хозяина. Лопухий специально тихим голосом говорил Коротышке или Длиннорукому, отвернувшись от Кешы: «Sitz. Сел бы ты, Рекс», и Кеша спокойно садился, глядя в сторону. Посмотреть на Лопухого, давая понять, что он ждет похвалы, Кеша не мог физически. Так же он не мог идти с правой стороны от человека.

Как-то Самый Главный – «Тарщкаптн» – спросил у Лопухого: «Апортировку ещё не пробовал?». Что-то такое апортировка, Кеша не знал. Лопухий ответил: «Рано ещё, тарщкаптн». – «А ты попробуй. Пес-то у нас уникальный, драгоценный!». Лопухий взял какую-то палку и сказал: «ОП». Кеша моментально, автоматически сел у левой ноги Лопухого и стал равнодушно ждать. Лопухий резко размахнулся и бросил палку – Bring! Кеша моментально рванул. Схватил её и в том же темпе ринулся обратно. Тут же сел у левой ноги, держа в зубах никому не нужную сухую палку, ожидая следующей команды. Лопухий долго с изумлением смотрел на него, пока Тарщкаптн не толкнул его в бок. «Aus», очнулся Лопухий, и Кеша тут же отдал ему свою добычу. «Ты видел, ты видел! – закричал Тарщкаптн и радостно стал потирать свои маленькие ручки. – Это же чудо! Какой аллюр, причем в обе стороны. Небывало!» – «Да, тарщкаптн, такое вижу впервые. Богом клянусь, я его не учил». – «Верю. Это у него в крови!». Лопухий привычным жестом поправил жиденькие усики: «Реакция и темп прекрасны. Но вот какой-то он безразличный, что ли... Азарта, как у других, нет. Странно. Собаки обычно с восторгом мчатся за палкой. Возвращаются вяло, это – да. Отдавать добычу не хотят. Я бы тоже не хотел. А он всё делает безупречно, но... не чувствую я его. Дрессировщик и собака должны являть собой одно целое, верно же, тарщкаптн... А Рекс – он...» – «Да, угрюмый пес. Но это и хорошо. Нам в конвойную добряки не нужны. Но главное, он – верный пес. Не может своего хозяина забыть и всё, что потом было. Для этого время нужно. Время всё лечит». Кеша

не понимал многих слов, но знал, что ни время, ни похлёбка с мозговой косточкой, ни крики восторга, ни то особое положение, которое он сразу же занял и в своем вольере, и во всём питомнике, – ничто не излечит его от любви к своему Хозяину и прежней свободной жизни.

Апортировка, снаряды, замедление темпа действий, хождение рядом в ошейнике и без него, невзятие пищи с чужой руки, приучение к выстрелам – всё это и многое другое не доставляло труда ни Кеше, ни двуногим. Пищу с чужой руки он не брал, здесь усилия были не нужны. Не понадобилась горчица, завернутая в тонкий пласт отварного мяса, ни тонкая почти невидимая игла, втыкаемая в ухо чужой рукой. Кеша видел, как попадались на эти нехитрые ухищрения зловонных двуногих молодые доверчивые псы, с толстыми неуклюжими лапами и купированными ушами, как тянулись к человеческим рукам, радостно и добродушно виляя хвостом, а потом кричали от боли, скулили от обиды и предательства, катались по земле, пытались врыться в неё, спрятаться от этого невыносимого злого мира, в который они попали. Так проходили науку не брать с чужих рук, никому не верить, кроме хозяина... Кеша эту науку чуял нутром с детства. И Хозяин у него был один. На всю жизнь. Все остальные руки были чужие, все имели запах волчьей враждебности. Он заставлял себя брать исключительно с рук Лопухого, да только за тем, чтобы не сдохнуть и иметь силы вырвать глотки у тех двух. От первого выстрела он даже не вздрогнул, доставив тем самым неопишемую радость Лопухому и Коротышке, который пытался напугать его своей громкой игрушкой. Проблемы для его дрессировщиков начались позже, когда перешли непосредственно к отработке навыков несения конвойной службы. Кешу это мало волновало, как, впрочем, всё, что существовало теперь вокруг него: люди, тренировки, прогулки, сучки, корм.

Ел он угрюмо, лениво, не чувствуя вкуса и запаха. То, что Хозяин ищет его, он не думал. Он никогда не думал за других, даже за Хозяина. Он лишь знал, что должен сделать он – Кеша. Найти Хозяина и вырвать глотки у тех двоих... Убегу, непременно убегу.

– Убегу, я непременно убегу отсюда. Я буду искать его!

– Куда ты убежишь? Ну, куда?! И нет его, нет, пойми, его нет!

– Тебя когда-нибудь будили среди ночи, погружали в холодную ванну, обматывали мокрыми простынями и связанную клали около батареи отопления!? Тебя когда-нибудь так мучили?! За что?!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.